

Александр МАРКОВ

КРОНА КРАСОТЫ

Владимир Полетаев. Прозрачный циферблат: стихотворения, переводы, эссе, письма / Сост. Б. Кутенков, Н. Милешкин, Е. Семёнова. Предисловие: О. Балла – М.: ЛитГОСТ, 2019. – 150 с. – (Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»)

Представим себе, 1965 год, оглохший от пионерских линеек во дворе «дом на Стопани», московское чистопрудье, бывший замок чаепромышленников с его уже легендарной литературной студией. Сквозь переплеты окон кажется, что стихи сейчас наберут силу, вырвутся на волю на собственных, не на заемных крыльях. Щиты с газетами во дворе, щиты в самом доме пионеров, уныние многократно повторенных слов – и вдруг всего этого не существует, а есть поэтическая строка длиной в жизнь. Но как зазвучит эта строка – пробуетеся на ощупь, легко полюбить себя, но поэт начинается там, где он безжалостен к себе, но жалеет других, влюбляется и умеет быть влюбчивым до конца жизни. Признанные советские лирики умели любить, умели говорить о пылкой влюбленности, но почти не умели оставаться влюбчивыми, а Владимир Полетаев умел.

Или представим себе, 1969 год, первая публикация восемнадцатилетнего поэта, усердного студента, сидевшего в библиотеках до закрытия с грамматиками разных языков, Владимира Григорьевича Полетаева в газете «Московский комсомолец». Февраль, сугробы, минус 20, что тогда было обычным. Развернутая кем-то в метро газета и рассеянное при ровном желтом свете внимание, так и не доходящее до стихов. Воспоминания о детстве уроженца Саратова, с родителями переезжавшего из города в город, тонкий хрупкий голос, воспоминания о заботе и желание позаботиться обо всех и обо всем, о стихах других поэтов, о самих поэтах, забытых, погубленных, забываемых в безвременье, житье тошней недуга, искренняя любовь родителей и однокурсников, и при этом отвергнутая или не замеченная струна жалости, звучащая во всех его стихах.

Или 1970 год, студент литературного института Полетаев, за плечами уже два курса отделения художественного перевода, признанные мэтрами переводы с украинского и грузинского. 30 апреля, день гибели, всё в те же восемнадцать, рассвет над Ленинградским проспектом столицы, открытое окно, пронзительный до торопливости холод перед первомайской демонстрацией. Борис Пастернак вспоминал 30 апреля «огни Панафиной», пытаюсь увидеть в празднике труда новую родину для культуры, для Владимира Полетаева такой родиной шествие по главному проспекту уже не было. Родиной его души была Грузия, он задумывал огромную антологию грузинских поэтов, труд о Грузии в ее истории и нынешнем состоянии. Гибельный шаг – а перед этим многочисленные выписки из книг, комната, забитая конспектами и пробами переводов, письма грузинских друзей и открытки, составленные от руки таблицы по грузинской истории, и невозможность вместить красоту той земли и невозможность перестать ее вмещать.

Грузия воздала долг памяти, выпустив в 1983 году собрание стихов и переводов поэта, составленное Олегом Чухонцевым. «Прозрачный циферблат» – новое издание, текстологически выверенное, продуманное, с проникновенным предисловием Ольги Балла. Мы сначала читаем Владимира Полетаева как лирика-шестидесятника, именно в том смысле, в каком тогда говорили о «лириках» в противоположность «физикам». Мало кто помнит, что в 1977 году писатель В. Медведев выпустил продолжение истории про

сорванца Баранкина, которому пришлось стать человеком, а не бабочкой: на этот раз подросток Баранкин собирался стать «физиком» и «сверхкосмонавтом», признавая только формулы, а не рифмы, но случайная влюбленность разбила все его амбиции, и вновь стал человеком он как «лирик». «Лирика» в таком понимании – это возможность посмотреть на себя со стороны, что-то скорее ближе к совести, чем к самовыражению, как и сам Владимир Полетаев говорил, что Грузия позволяет со стороны посмотреть на то поэтическое слово, которым ты пользуешься:

Прямо из горлышка – горько и сладко,
Жарко и холодно – пей без остатка!
Катится вечер, гремя и звеня,
Девочка в губы целует меня!!!

Эти строки вроде бы подростка, угостившего девочку лимонадом, которому не терпится дождаться темноты, когда можно будет впервые поцеловаться. Но за бытовой сценой мы узнаем это рождение лирика: уже кровь кипит, шум в ушах невыносимый, бросает в холод и жар, но эти состояния влюбленности расположены в строфе так, что мы чувствуем какую-то стыдливость и почтительность самого слова. Сами торжественные возгласы, с тремя восклицательными знаками, это та речь, которая должна быть просто исполнена, без которой ты просто не станешь человеком, которому стыдно что-то вспоминать, но совесть не позволит об этом не вспомнить и не сказать.

В книге и дневники, и письма, и переводы, и воспоминания, начиная с воспоминаний его отца, Григория Самойловича Гершензона. Но читая книгу подряд, после поразительных дневниковых заметок опять обращаешься к лирике:

Небо начинается с земли,
с лепета невнятного былинки,
с огонька случайного вдали,
с жёлтых Якиманок и Ордынок.

Казалось бы, перед нами обычный зачин советской лирики, от случайно увиденных вещей к более общему переживанию. Но Владимир Полетаев никогда не стремится перейти к обобщающей морали, напротив, всегда пылив, и пока не выяснит, насколько не случайна эта случайность, насколько внятна эта невнятность, не двинется дальше. Ландшафт города, с желтыми старорежимными домами – не предмет случайной привязанности, которую просто не на что разменять, а напротив, возможность еще раз посмотреть на небо, прощаясь с ним как с родным или встречаясь как с давним знакомым.

Поэтому так неожиданно выглядит лирика, посвященная природе, это уже не привязанность к ландшафтам и чувствам, но напротив, умение должным образом попрощаться:

И если смертное затишье
нахлынет с четырёх сторон,
я знаю: я тогда услышу
всё тот же отдалённый звон.

Последним напряженьем воли,
полуодолевая боль,
я ухвачусь за это поле
и унесу его с собой.

Умиравший Иммануил Кант, когда в комнату входил посетитель, из последних сил привставал в знак уважения, говоря: «Человечность еще не до конца покинула меня». При этом Владимир Полетаев, в отличие от лириков предшествующего поколения, не с меньшей дрожью беды и счастья писавших о Москве, как Геннадий Шпаликов, мог не упоминать, как здесь Пушкин с Вяземским дружил или как дома звучат державинской строкой. Ему достаточно было для этой человечности сказать, что диагноз уже поставлен, что ты уже в той самой пастернаковской больнице, где спрятан в футляр:

Но сегодня всю ночь, то ли ворон накаркал,
то ли стёкла наплакали – не разберу,
бормотанье дождя и дрожанье огарка
вызывает унынье, наводит хандру.

Казалось бы, да, Полетаев боготворил Пастернака и говорит здесь почти как Пастернак, который с Байроном курил и пил с Эдгаром По. Но Пастернак не сказал бы «дрожанье огарка», но это мог бы сказать умирающий Кант, обращаясь к многолетнему верному слуге, прося принести свечу для гостя. Такое чувство собственной уязвимости, при этом благородно внимающее бормотанью дождя – насколько это возвышеннее, чем просто переживать дождь как родную себе стихию, или даже как Маяковский, думать, что над страной пройдёшь как косой дождь.

Можно назвать это «тихой лирикой», вспоминая один из синюшных штампов советских критиков. Но на самом деле это лирика не тихая совсем, а скорее, лирика кричащего внимания, которое может оказаться более кричащим, чем все советские плакаты. Это не крик канонического советского поэта, посмотрите, что сейчас со мной происходит, не личные эмоции, но скорее крик испуга, что кто-то нас заметил, прежде чем мы заметили себя, крик Марии Магдалины «Раввуни» в саду:

Голубой элегический вечер.
Во дворах колобродит весна.
Ты как улочка в Замоскворечье,
где трава сквозь асфальт проросла.

Где в печалях своих стародавних
липы клонятся возле крыльца,
где на старых ореховых ставнях
кто-то вырезал наши сердца.

Казалось бы, почти романс, но это романс особого типа, который за неимением термина назову романсом-сравнением или романсом-параболой. Голубой вечер, словно со старой пластинки Клавдии Шульженко, оказывается элегическим, нужно еще и еще раз созидать весну, в запущенном Замоскворечье, городе мертвых и живых. Смирненная память

об умерших сравнивается с печалью, опечаленные липы – детские, торжественные, майские, вновь возвращают нас своим торжественным шествием к любви, уже воспетой. Резные ставни с сердечками, казалось бы оформительский китч времен лубков и частушек, оказывается столь же серьезен, сколь провансальские стихи и легенды о съеденном сердце. Вырезать сердце – этот оборот и запоминается, он и становится настоящим «текстом», как текст Евангелия «Не прикасайся ко мне» как канон для любви небесной, не земной для множества будущих поколений. Печаль царя Давида по-царски одарила тысячелетия, а у Владимира Полетаева печаль безвестного трубадура и безвестного мастера позволила многим стать влюбленными.

Если говорить о неизбежной тяге поэта к Грузии, то наверное, оттуда роскошь эпитетов, в каждый из которых можно влюбиться:

А на вокзалах в мокром целлофане
серебряную продают сирень,
и, осыпаясь, влажные соцветья
таинственное обещают счастье

Чтобы любить Грузию, не обязательно сразу упоминать храмы и виноградники, можно назвать сирень «серебряной», а счастье – «таинственным», и вот на мокром целлофане вязь эпитетов выводится не хуже, чем буквы в грузинской летописи дней, всё это одинаково оказывается внесено в каталог пережитого и незабвенного. Обилие эпитетов, вроде бы стертых, напоминает о том, сколь объемно переживание о простой памяти, календарной, летописной, дневниковой, тоже вроде бы состоящей из стертых впечатлений, но вдруг оживающей, как оживает древний рассказ как единственная форма, способная осмотрительно рассказать о таинственном. О таинственном Полетаев и писал, но обращаясь не к образам святых, но к образам художников:

И овладев теченьем речи,
Не допуская произвола,
Попробуй, натяни на плечи
Рубаху мёртвого Паоло...

Иные морщатся: куда нам!
Но я на размышленья эти
Одним подвигнут Тицианом
И только перед ним в ответе.

Читатель книги найдет в ней много неожиданного, например, совершенно необычные переводы из Рильке, напоминающие не столько о Пастернаке, сколько о Маяковском, если бы он вдруг стал аскетом и религиозным поэтом:

Но есть Единый – каждое паденье
Приемлет бережно его рука.

Есть и трактат Владимира Полетаева о поэтическом переводе: «Необыкновенная лёгкость и раскованность присутствуют в лучших переводах Пастернака и Маршака. Но в

переводах первого я чаще ощущаю лёгкость пламени, в переводах второго – лёгкость конструкции». Есть и дневниковые записи: «Очень трудно проверить самого себя, что до других – кое-кто не принимает формы, кое-кто не понимает формы». Читая и перечитывая книгу, написанное в год Вудстока и накануне, мы узнаём, чем мог бы стать поэтический перевод, чем могла бы стать медитативная лирика, если бы шестидесятые продолжались, если бы не было такого подавления слова и разрывов поколений. Продолжение следует – писали в журналах. Продолжение последовало – говорим мы, закрывая и вновь открывая эту книгу.